

КЛАССИЧЕСКАЯ УТОПИЯ

Т. Мор
Т. Кампанелла
Ф. Бэкон
С. де Бержерак



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

**Фрэнсис Бэкон
Томмазо Кампанелла
Сирано Де Бержерак
Томас Мор**

Классическая утопия (сборник)

Серия «Зарубежная классика (АСТ)»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=37666626

Классическая утопия: Издательство АСТ; М.; 2018

ISBN 978-5-17-109987-9

Аннотация

Как же представляли себе идеальное общество великие мечтатели далекого прошлого?

Рациональный Томас Мор допускал в своем идеальном обществе существование рабов, однако горячо приветствовал равноправие женщин, всеобщую грамотность и запрет на смертную казнь...

Неистовый Томмазо Кампанелла представил на суд шокированных современников эксцентричные идеи государственного воспитания детей, «свободной любви» и отмирания традиционной семьи...

Фрэнсис Бэкон, которому принадлежит честь создания «технократической» утопии, воспел общество, поставившее себе на службу достижения науки – от «вечного двигателя» до телефона...

А остроумный Сирано де Бержерак создал парадоксальный и смешной мир, населенный фантастическими существами, которых на земле считают «оракулами, нимфами, гениями, феями, пенатами, вампирами, домовыми, призраками и привидениями»...

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Содержание

Томас Мор	6
Томас Мор шлет привет Петру Эгидию	7
Первая книга	14
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Т. Мор, Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, С. де Бержерак Классическая утопия

© Перевод, комментарии. Ф. Петровский, 2018

© Перевод. З. Александрова, 2018

© Перевод. Е. Гунст, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2018

Томас Мор

Утопия

Золотая книга, столь же полезная, как забавная, о
наилучшем устройстве государства и о новом острове
Утопии

Томас Мор шлет привет Петру Эгидию

Дорогой Петр Эгидий, мне, пожалуй, и стыдно посылать тебе чуть не спустя год эту книжку о государстве утопийцев, так как ты, без сомнения, ожидал ее через полтора месяца, зная, что я избавлен в этой работе от труда придумывания; с другой стороны, мне нисколько не надо было размышлять над планом, а надлежало только передать тот рассказ Рафаила, который я слышал вместе с тобою. У меня не было причин и трудиться над красноречивым изложением, – речь рассказчика не могла быть изысканной, так как велась экспромтом, без приготовления; затем, как тебе известно, эта речь исходила от человека, который не столь сведущ в латинском языке, сколько в греческом, и чем больше моя передача подходила бы к его небрежной простоте, тем она должна была бы быть ближе к истине, а о ней только одной я в данной работе должен заботиться и забочусь.

Признаюсь, друг Петр, этот уже готовый материал почти совсем избавил меня от труда, ибо обдумывание материала и его планировка потребовали бы немало таланта, некоторой доли учености и известного количества времени и усердия; а если бы понадобилось изложить предмет не только правдиво, но также и красноречиво, то для выполнения этого у меня не хватило бы никакого времени, никакого усердия. Теперь,

когда исчезли заботы, из-за которых пришлось бы столько попотеть, мне оставалось только одно – просто записать слышанное, а это было уже делом совсем нетрудным; но все же для выполнения этого «совсем нетрудного дела» прочие дела мои оставляли мне обычно менее чем ничтожное количество времени. Постоянно приходится мне то возиться с судебными процессами (одни я веду, другие слушаю, третьи заканчиваю в качестве посредника, четвертые прекращаю на правах судьи), то посещать одних людей по чувству долга, других – по делам. И вот, пожертвовав вне дома другим почти весь день, я остаток его отдаю своим близким, а себе, то есть литературе, не оставляю ничего.

Действительно, по возвращении к себе надо поговорить с женою, поболтать с детьми, потолковать со слугами. Все это я считаю делами, раз это необходимо выполнить (если не хочешь быть чужим у себя в доме). Вообще надо стараться быть возможно приятным по отношению к тем, кто дан тебе в спутники жизни или по предусмотрительности природы, или по игре случая, или по твоему выбору, только не следует портить их ласковостью или по снисходительности из слуг делать господ. Среди перечисленного мною уходят дни, месяцы, годы. Когда же тут писать? А между тем я ничего не говорил о сне, равно как и обеде, который поглощает у многих не меньше времени, чем самый сон, – а он поглощает почти половину жизни. Я же выгадываю себе только то время, которое краду у сна и еды; конечно, его мало, но все

же оно представляет нечто, поэтому я хоть и медленно, но все же напоследок закончил «Утопию» и переслал тебе, друг Петр, чтобы ты прочел ее и напомнил, если что ускользнуло от меня. Правда, в этом отношении я чувствую за собой известную уверенность и хотел бы даже обладать умом и ученостью в такой же степени, в какой владею своей памятью, но все же не настолько полагаюсь на себя, чтобы думать, что я не мог ничего забыть.

Именно, мой питомец Иоанн Клемент, который, как тебе известно, был вместе с нами (я охотно позволяю ему присутствовать при всяком разговоре, от которого может быть для него какая-либо польза, так как ожидаю со временем прекрасных плодов от той травы, которая начала зеленеть в ходе его греческих и латинских занятий), привел меня в сильное смущение. Насколько я припоминаю, Гитлодей рассказывал, что Амауротский мост, который перекинут через реку Анидр, имеет в длину пятьсот шагов, а мой Иоанн говорит, что надо убавить двести; ширина реки, по его словам, не превышает трехсот шагов. Прошу тебе порыться в своей памяти. Если ты одних с ним мыслей, то соглашусь и я и признаю свою ошибку. Если же ты сам не припоминаешь, то я оставлю, как написал, именно то, что, по-моему, я помню сам. Конечно, я приложу все старание к тому, чтобы в моей книге не было никакого обмана, но, с другой стороны, в сомнительных случаях я скорее скажу невольно ложь, чем допущу ее по своей воле, так как предпочитаю быть лучше

честным человеком, чем благоразумным.

Впрочем, этому горю легко будет помочь, если ты об этом разузнаешь у самого Рафаила или лично, или письменно, а это необходимо сделать также и по другому затруднению, которое возникло у нас, не знаю, по чьей вине: по моей ли скорее, или по твоей, или по вине самого Рафаила. Именно, ни нам не пришло в голову спросить, ни ему – сказать, в какой части Нового Света расположена Утопия. Я готов был бы, разумеется, искупить это упущение изрядной суммой денег из собственных средств. Ведь мне довольно стыдно, с одной стороны, не знать, в каком море находится остров, о котором я так много распространяюсь, а с другой стороны, у нас находятся несколько лиц, а в особенности одно, человек благочестивый и по специальности богослов, который горит изумительным стремлением посетить Утопию не из пустого желания или любопытства посмотреть на новое, а подбодрить и развить нашу религию, удачно там начавшуюся. Для надлежащего выполнения этого он решил предварительно принять меры к тому, чтобы его послал туда папа и даже чтобы его избрали в епископы утопийцам; его нисколько не затрудняет то, что этого сана ему приходится добиваться просьбами. Он считает священным такое домогательство, которое порождено не соображениями почета или выгоды, а благочестием.

Поэтому прошу тебя, друг Петр, обратиться к Гитлодею или лично, если ты можешь это удобно сделать, или списать-

ся заочно и принять меры к тому, чтобы в настоящем моем сочинении не было никакого обмана или не было пропущено ничего верного. И едва ли не лучше показать ему самую книгу. Ведь никто другой не может наравне с ним исправить, какие там есть, ошибки, да и сам он не в силах исполнить это, если не прочтет до конца написанного мною. Сверх того, таким путем ты можешь понять, мирится ли он с тем, что это сочинение написано мною, или принимает это неохотно. Ведь если он решил сам описать свои странствия, то, вероятно, не захотел бы, чтобы это сделал я: во всяком случае, я не желал бы своей публикацией о государстве утопийцев предвосхитить у его истории цвет и прелесть новизны.

Впрочем, говоря по правде, я и сам еще не решил вполне, буду ли я вообще издавать книгу. Вкусы людей весьма разнообразны, характеры капризны, природа их в высшей степени неблагодарна, суждения доходят до полной нелепости. Поэтому несколько счастливее, по-видимому, чувствуют себя те, кто приятно и весело живет в свое удовольствие, чем те, кто терзает себя заботами об издании чего-нибудь, могущего одним принести пользу или удовольствие, тогда как у других вызовет отвращение или неблагодарность. Огромное большинство не знает литературы, многие презирают ее. Невежда отбрасывает как грубость все то, что не вполне невежественно; полужайки отвергают как пошлость все то, что не изобилует стародавними словами; некоторым нравится только ветошь, большинству — только свое собственное. Один

настолько угрюм, что не допускает шуток; другой настолько неостроумен, что не переносит остроумия; некоторые настолько лишены насмешливости, что боятся всякого намека на нее, как укушенный бешеной собакой страшится воды; иные до такой степени непостоянны, что сидя одобряют одно, а стоя – другое. Одни сидят в трактирах и судят о талантах писателей за стаканами вина, порицая с большим авторитетом все, что им угодно, и продергивая каждого за его писание, как за волосы, а сами меж тем находятся в безопасности и, как говорится в греческой поговорке, вне обстрела. Эти молодцы настолько гладки и выбриты со всех сторон, что у них нет и волоска, за который можно было бы ухватиться. Кроме того, есть люди настолько неблагодарные, что и после сильного наслаждения литературным произведением они все же не питают никакой особой любви к автору. Они вполне напоминают этим тех невежливых гостей, которые, получив в изобилии богатый обед, наконец сытые уходят домой, не принеся никакой благодарности пригласившему их. Вот и затевай теперь на свой счет пиршество для людей столь нежного вкуса, столь разнообразных настроений и, кроме того, для столь памятливых и благодарных.

А все же, друг Петр, ты устрой с Гитлодеем то, о чем я говорил. После, однако, у меня будет полная свобода принять по этому поводу новое решение. Впрочем, покончив с трудом писания, я, по пословице, поздно хватился за ум; поэтому, если это согласуется с желанием Гитлодея, я в дальней-

шем последую касательно издания совету друзей, и прежде всего твоему. Прощайте, милейший Петр Эгидий и твоя прекрасная супруга, люби меня по-прежнему, я же люблю тебя еще больше прежнего.

Первая книга

Беседа, которую вел выдающийся муж Рафаил Гитлодей, о наилучшем состоянии государства, в передаче знаменитого мужа Томаса Мора, гражданина и виконта славного британского города Лондона.

У непобедимейшего короля Англии Генриха, восьмого с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом.

Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кутберта Тунсталла, которого недавно, к всеобщей радости, король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки; затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой.

Согласно предварительному условию, в Бругге встретились с нами представители государя, все выдающиеся мужи. Среди них первенствовал и был главою губернатор Бругге, а устами и сердцем посольства был Георгий Темзиций, настоятель собора в Касселе, красноречивый не только в силу ис-

кусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров благодаря своему уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправился в Антверпен.

Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом и достойный еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше – его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он на редкость скромн, более всех других ему чужда напыщенность; ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно-остроумна. Поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа в значительной мере облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так как тогда уже более четырех месяцев отсутствовал из дому.

Однажды я был на богослужении в храме Девы Марии, который является и красивейшим зданием, и всегда переполнен народом. По окончании обедни я собирался вернуться в гостиницу, как вдруг случайно вижу Петра, говорящим с иностранцем, близким по летам к старости, с опаленным от зноя лицом, отпущенной бородой, с плащом, небрежно свесившимся с плеча; по наружности и одежде он показался мне моряком. Заметив меня, Петр тотчас подходит и здоровается. Я хотел ответить ему, но он отводит меня несколько в сторону и спрашивает:

– Видишь ты этого человека? – Одновременно он показывает на того, кого я видел говорившим с ним. – Я собирался, – добавил он, – прямо отсюда вести его к тебе.

– Его приход был бы мне очень приятен, – ответил я, – ради тебя.

– Нет, – возразил Петр, – ради тебя, если бы ты знал этого человека. Нет ведь теперь никого на свете, кто мог бы рассказать столько историй о неведомых людях и землях, а я знаю, что ты большой охотник послушать это.

– Значит, – говорю, – я сделал неплохую догадку. Именно, сразу, с первого взгляда, я заметил, что это – моряк.

– И все-таки, – возразил Петр, – ты был очень далек от истины. Правда, он плавал по морю, но не как Палинур, а как Улисс, вернее – как Платон. Ведь этот Рафаил – таково его имя, а фамилия Гитлодей – не лишен знания латыни, а греческий он знает превосходно. Он потому усерднее зани-

мался этим языком, чем римским, что всецело посвятил себя философии, а в области этой науки, как он узнал, полатыни не существует ничего сколько-нибудь важного, кроме некоторых сочинений Сенеки и Цицерона. Оставив братьям имущество, которое было у него на родине (он португалец), он из желания посмотреть на мир примкнул к Америго Веспуччи и был постоянным его спутником в трех последующих путешествиях из тех четырех, про которые читают уже повсюду, но при последнем не вернулся с ним. Ибо Рафаил приложил все старание и добился у Веспуччи быть в числе тех двадцати четырех, кто был оставлен в крепости у границ последнего плавания. Таким образом, он был оставлен в угодую своему характеру, более склонному к странствиям по чужбине, чем к пышным мавзолеям на родине. Он ведь постоянно повторяет следующие изречения: «Небеса не имеющих урны укроют» и: «Дорога к всевышним отовсюду одинакова». Не будь божество благосклонно к нему, такие мысли его обошли бы ему очень дорого.

В дальнейшем, после разлуки с Веспуччи, он с пятью своими товарищами по крепости объездил много стран, и напоследок удивительная случайность занесла его на Тапробану; оттуда прибыл он в Каликвит, где нашел, кстати, корабли португальцев, и в конце концов неожиданно вернулся на родину.

После этого рассказа Петра я поблагодарил его за услужливость, именно – за усиленную заботу о том, чтобы мне на-

сладиться беседой с тем лицом, разговор с которым, как он надеялся, будет мне приятен. Затем я поворачиваюсь к Рафаилу. Тут после взаимных приветствий и обмена теми общепринятыми фразами, которые обычно говорят при первой встрече лиц незнакомых, мы идем ко мне домой и здесь в саду, усевшись на скамейке, покрытой зеленым дерном, начинаем разговор.

Рафаил рассказал нам, как после отъезда Веспуччи он сам и его товарищи, оставшиеся в крепости, начали мало-помалу, путем встреч и ласкового обхождения, приобретать себе расположение жителей той страны. В результате они не только жили среди них в безопасности, но чувствовали себя с ними по-приятельски; затем они вошли в милость и расположение к одному государю (имя его и название его страны выпали у меня из памяти). Благодаря его щедрости, продолжал Рафаил, как сам он, так и его товарищи получили в изобилии продовольствие и денежные средства, а вместе с тем и вполне надежного проводника. Он должен был доставить их – по воде на плотах, по суше на повозках – к другим государям, к которым они ехали с дружескими рекомендациями. После многодневного пути Рафаил, по его словам, нашел малые и большие города и густонаселенные государства с отнюдь не плохим устройством.

Действительно, под экваториальной линией, затем с обеих сторон вверх и вниз от нее, почти на всем пространстве, которое охватывает течение солнца, лежат обширные пусты-

ни, высохшие от постоянного жара; в них повсюду нечистота, грязь, предметы имеют скорбный облик, все сурово и невозделано, заселено зверями и змеями или, наконец, людьми, не менее дикими, чем чудовища, и не менее вредными. Но по мере дальнейшего продвижения все мало-помалу смягчается: климат становится менее суровым, почва – привлекательной от зелени, природа живых существ – более мягкой. Наконец открываются народы, города, большие и малые; в их среде постоянные торговые сношения по суше и по морю не только между ними и соседями, но даже и с племенами, живущими в отдалении.

По словам Рафаила, он имел возможность осмотреть многие страны во всех направлениях потому, что он и его товарищи весьма охотно допускались на всякий корабль, снаряжавшийся для любого плавания. Он рассказывал, что корабли, виденные им в первых странах, имели киль плоский, паруса на них натягивались из сшитых листьев папируса или из прутьев, в иных местах – из кож. Далее находили они кили заостренные, паруса пеньковые, наконец – во всем похожие на наши. Моряки оказались достаточно сведущими в знании моря и погоды.

Но, как он рассказывал, он приобрел у них огромное влияние, сообщив им употребление магнитной иглы, с которой они раньше были совершенно незнакомы и потому с робостью привыкали к морской пучине, доверяясь ей без колебаний не в иную пору, как только летом. Ныне же, крепко

уповая на эту иглу, они презирают зиму. Результатом этого явилась скорее их беззаботность, чем безопасность; поэтому можно опасаться, как бы та вещь, которая, по их мнению, должна была принести им большую пользу, не явилась, в силу их неблагоприятия, причиной больших бедствий.

Слишком долго было бы излагать его рассказы о том, что он видел в каждой стране, да это и не входит в план настоящего сочинения и, может быть, будет передано нами в другом месте. Особенно полезным будет, конечно, прежде всего знакомство с теми правильными и мудрыми мероприятиями, которые он замечал где-либо у народов, живущих в гражданском благоустройстве. Об этом и мы расспрашивали его с большою жадностью, и он распространялся охотнее всего. Между тем мы оставили в стороне всякие вопросы о чудовищах, так как это представляется отнюдь не новым. Действительно, на хищных Сцилл, и Целен, и пожирающих народы Лестригонов и тому подобных бесчеловечных чудовищ можно наткнуться почти всюду, а граждан, воспитанных в здравых и разумных правилах, нельзя найти где угодно.

И вот, отметив у этих новых народов много превратных законов, Рафаил, с другой стороны, перечислил немало и таких, из которых можно взять примеры для исправления заблуждений наших городов, народов, племен и царств; об этом, как я сказал, я обещаюсь упомянуть в другом месте. Теперь я имею в виду только привести его рассказ об обычаях и учреждениях утопийцев, но предварительно все же

передам тот разговор, который послужил как бы путеводной нитью к упоминанию этого государства.

Именно, Рафаил стал весьма умно перечислять сперва ошибки наши и тех народов, во всяком случае, очень многочисленные с обеих сторон, а затем мудрые и благоразумные распоряжения у нас, равно как и у них. При этом он излагал обычаи и учреждения каждого народа так, что казалось, будто, попадая в какое-либо место, он прожил там всю жизнь.

Тогда Петр в восхищении воскликнул:

– Друг Рафаил, почему ты не пристроишься при каком-либо государе? Я убежден, что ты вполне угодишь каждому из них, так как в силу такой своей учености и такого знания мест и людей ты способен не только позабавить, но привести поучительный пример и помочь советом. Вместе с тем таким способом ты сможешь отлично устроить и собственные дела, оказать большую помощь преуспеянию всех твоих близких.

– Что касается моих близких, – возразил Рафаил, – то я не очень волнуюсь из-за них. Я считаю, что посильно выполнил лежавший на мне долг по отношению к ним. Именно, будучи не только вполне здоровым и бодрым, но и молодым человеком, я распределил между родственниками и друзьями свое имущество. А обычно другие отступаются от него только под старость и при болезни, да и тогда даже отступаются с трудом, будучи не в силах более удержать его. Думаю, что мои близкие должны быть довольны этой моей милостью

и не будут требовать и ждать того, чтобы ради них я пошел служить царям.

– Не выражайся резко! – заметил Петр. – Я имел в виду не служить царям, а услужить им.

– Но это, – ответил Рафаил, – только один лишний слог по сравнению с служить.

– А я, – возразил Петр, – думаю так: как бы ты ни называл это занятие, именно оно является средством, которым ты можешь принести пользу не только тесному кругу лиц, но и обществу, а также улучшить свое собственное положение.

– Улучшится ли оно, – спросил Рафаил, – тем путем, который мне не по сердцу? Ведь теперь я живу так, как хочу, а я почти уверен, что это – удел немногих порфириносцев! Разве мало таких лиц, которые сами ищут дружбы с властями, и разве, по-твоему, получится большой урон, если они обойдутся без меня или без кого-либо мне подобного?

Тогда вступаю в беседу я:

– Друг Рафаил, ты, очевидно, не стремишься ни к богатству, ни к могуществу, и, разумеется, человека с таким образом мыслей я уважаю и почитаю не менее, чем и каждого из тех, кто обладает наивысшим могуществом. Но, как мне кажется, ты поступишь с полным достоинством для себя и для твоего столь возвышенного и истинно философского ума, если постарайшься даже с известным личным ущербом отдать свой талант и усердие на служение обществу; а этого ты никогда не можешь осуществить с такой пользой, как ес-

ли ты станешь советником какого-либо великого государя и, в чем я уверен, начнешь внушать ему надлежащие честные мысли. Не надо забывать, что государь, подобно неиссякаемому источнику, изливает на весь народ поток всего хорошего и дурного. Ты же всегда, даже без большой житейской практики, явишься превосходным советником для всякого из королей благодаря твоей совершенной учености и даже без всякой учености, благодаря твоей многосторонней опытности.

– Друг Мор, – ответил Рафаил, – ты дважды ошибаешься: во-первых, в отношении меня, во-вторых, по сути дела. У меня нет тех способностей, которые ты мне приписываешь, а если бы они и были, то, жертвуя для дела своим бездействием, я не принес бы никакой пользы государству. Прежде всего все короли в большинстве случаев охотнее отдают свое время только военным наукам (а у меня в них нет опытности, да я и не желаю этого), чем благим деяниям мира; затем государи с гораздо большим удовольствием, гораздо больше заботятся о том, как бы законными и незаконными путями приобрести себе новые царства, нежели о том, как надлежаще управлять приобретенным. Кроме того, из всех советников королей нет никого, кто действительно настолько умен, чтобы не нуждаться в советах другого, однако каждый представляется самому себе настолько умным, что не желает одобрять чужое мнение. Впрочем, есть исключение: советники льстиво и низкопоклонно потворствуют каждому неле-

пому мнению лиц, пользующихся у государя наибольшим влиянием, желая подобной лестью расположить их к себе. И, во всяком случае, природой так устроено, что каждому нравятся его произведения. Так и ворону мил его выводок, и обезьяне люб ее детеныш.

Поэтому, если в кругу подобных лиц, завидующих чужим мнениям и предпочитающих собственные, кто-нибудь приведет факт, вычитанный им из истории прошлого или замеченный в других странах, то слушатели относятся к этому так, как будто вся репутация их мудрости подвергается опасности и после этого замечания их сочтут круглыми дураками, если они не сумеют придумать чего-нибудь такого, чем можно опорочить чужую выдумку. Если других средств нет, то они прибегают к следующему: это, говорят они, нравилось нашим предкам, а мы желали бы равняться с ними в мудрости. И на этом они успокаиваются, считая, что подобным замечанием прекрасно себя защитили. Как будто великая опасность получится от того, если кто в каком-либо деле окажется умнее своих предков. А между тем всему, что ими удачно установлено, мы с полным спокойствием предоставляем существовать. Но если по какому-либо поводу можно придумать нечто более благоразумное, то мы тотчас страстно хватаемся за этот довод и цепко держимся установленного ранее. С подобными высокомерными, нелепыми и капризными суждениями я встречался неоднократно в других местах, а особенно однажды столкнулся с ними в Англии.

– Скажи, пожалуйста, спрашиваю я, – так ты был в нашей стране?

– Да, – ответил он, – и провел там несколько месяцев после поражения западных англичан в гражданской войне против короля, которая была подавлена безжалостным их избиением. В это время я многим обязан был досточтимому отцу Иоанну Мортону, архиепископу Кентерберийскому и кардиналу, а тогда также и канцлеру Англии. Этот муж, друг Петр (я обращаюсь к тебе, так как Мор знает, что я имею в виду сказать), внушал уважение столько же своим авторитетом, как благоразумием и добродетелью. Стан у него был средний, но не согбенный от возраста, хотя и преклонного. Лицо внушало почтение, а не страх. В обхождении он был не тяжел, но серьезен и важен. У него появлялось иногда желание слишком сурового обращения с просителями, впрочем без вреда для них; он хотел этим испытать, какою находчивостью, каким присутствием духа обладает каждый. В смелости их, но отнюдь не связанной с нахальством, он находил большое удовольствие, так как это качество было сродни и ему самому, и он признавал такого человека пригодным для служебной деятельности. Речь его была гладкая и проникновенная. Он обладал превосходным знанием права, несравненным остроумием, на редкость дивной памятью. Эти выдающиеся природные качества он развил учением и упражнением.

Король вполне полагался на его советы; в мою бытность

там находило в них опору и государство. С ранней юности, прямо со школьной скамейки, попал он ко двору, провел всю жизнь среди важных дел и, постоянно подвергаясь превратностям судьбы, среди многих и великих опасностей приобрел большой государственный опыт, который, будучи получен таким образом, нескоро исчезает.

По счастливой случайности я присутствовал однажды за его столом; тут же был один мирянин, знаток ваших законов. Не знаю, по какому поводу он нашел удобный случай для обстоятельной похвалы тому суровому правосудию, которое применялось в то время по отношению к ворам; их, как он рассказывал, вешали иногда по двадцати на одной виселице. Тем более удивительным, по его словам, выходило то, что, хотя незначительное меньшинство ускользало от казни, в силу какого-то злого рока, многие все же повсюду занимались разбоями. Тогда я, рискнув говорить свободно в присутствии кардинала, заявил:

«Ничего тут нет удивительного. Такое наказание воров заходит за границы справедливости и вредно для блага государства. Действительно, простая кража не такой огромный проступок, чтобы за него рубить голову, а с другой стороны, ни одно наказание не является настолько сильным, чтобы удержать от разбоев тех, у кого нет никакого другого способа снискать пропитание. В этом отношении вы, как и значительная часть людей на свете, по-видимому, подражаете плохим педагогам, которые охотнее бьют учеников, чем их

учат. В самом деле, вору назначают тяжкие и жестокие муки, тогда как гораздо скорее следовало бы позаботиться о каких-либо средствах к жизни, чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать».

«В этом отношении, – отвечал тот, – приняты достаточные меры, существуют ремесла, существует земледелие: ими можно поддержать жизнь, если люди сами не предпочтут быть дурными».

«Нет, так тебе не вывернуться, – отвечаю я. – Оставим, прежде всего, тех, кто часто возвращается домой калеками с войн внешних или гражданских, как недавно у вас после битвы при Корнуэлле и немного ранее – после войн с Францией. После потери членов тела ради государства и ради короля убожество не позволяет им вернуться к прежним занятиям, а возраст – изучить новые. Но, повторяю, оставим это, так как войны происходят через известные промежутки времени. Обратимся к тому, что бывает всякий день.

Во-первых, существует огромное число знати: она, подобно трутням, живет праздно, трудами других, именно – арендаторов своих поместий, которых для увеличения доходов стрижет до живого мяса. Только такая скупость и знакома этим людям, в общем расточительным до нищеты. Мало того, эти аристократы окружают себя также огромной толпой телохранителей, которые не учились никогда никакому способу снискивать пропитание. Но стоит господину умереть

или этим слугам заболеть, как их тотчас выбрасывают вон. Хозяева охотнее содержат праздных, чем больных, и часто наследник умершего не в силах содержать отцовскую челядь. И вот они усиленно голодают, если не начинают усиленно разбойничать. Действительно, что им делать? Когда в скитаниях они поизносят несколько платье и поизносятся сами, то подкошенных болезнью и покрытых лохмотьями не соблаговолят принять благородные и не посмеют крестьяне. Эти последние прекрасно знают, что человек, деликатно воспитанный среди праздности и наслаждений, со шпагой на боку и со щитом в руке, привык только хвастливо бросать гордые взгляды на соседей и презирать всех по сравнению с собою, а отнюдь не пригоден для того, чтобы с заступом и мотыгой за скудное вознаграждение и скромный стол верно служить бедняку».

На это мой собеседник возразил:

«А нам, однако, надо особенно поддерживать людей этого рода; в них ведь, как в людях более возвышенного и благородного настроения, заключается, в случае если дело дойдет до войны, главная сила и крепость войска».

«Отлично, — отвечаю я, — с таким же основанием ты мог бы сказать, что ради войны надо поддерживать и воров, от которых, несомненно, вы никогда не избавитесь, пока у вас будут эти дворовые. Почему, с одной стороны, разбойникам не быть вполне расторопными солдатами, а с другой, солдатам — самыми отъявленными трусами из разбойников, — до

такой степени эти два занятия прекрасно подходят друг к другу. Впрочем, этот порок, несмотря на свою распространенность у вас, не составляет, однако, вашей отличительной особенности: он общий у всех почти народов. Так, что касается Франции, то ее сверх этого разоряет другая язва, еще более губительная: вся страна даже и во время мира (если это можно назвать миром) наполнена и осаждена наемными солдатами, призванными в силу того же убеждения, в силу которого вы признали нужным держать здесь праздных слуг. Именно, эти умные дураки решили, что благо государства заключается в том, что оно должно иметь всегда наготове сильный и крепкий гарнизон, состоящий главным образом из ветеранов: эти политики отнюдь не доверяют новобранцам. Поэтому им приходится искать войны даже и для того, чтобы дать опыт солдатам и вообще иметь людей для резни; иначе, по остроумному замечанию Саллюстия, руки и дух зачинеют в бездействии.

Франция познала собственным бедствием, насколько губительно содержать чудовищ такого рода, а с другой стороны, то же доказывают примеры римлян, карфагенян, сирийцев и вообще многих народов. Постоянные войска всех этих народов уничтожили по разным поводам не только их владычество, но поля и даже самые города. В какой степени, однако, это не вызывается необходимостью, видно хотя бы из следующего: даже и французские солдаты, вполне от молодых ногтей закаленные в боях, при столкновении с вашими

призывными не могут слишком часто похвастаться победами. Впрочем, я не буду дальше распространяться об этом в вашем присутствии, чтобы не оказаться льстецом. Но нельзя думать, чтобы и у вас праздные телохранители аристократов внушали большой страх вашим городским ремесленникам или простым и грубым земледельцам, кроме разве как тем из них, кто по своему телосложению не отличается особой физической силой и отвагой или чья бодрость надломлена имущественными недостатками. Поэтому нет никакого основания опасаться, что эти сильные и крепкие физические люди (ведь только отборные удостаиваются развращенного внимания аристократии), теперь слабеющие в праздности или в занятиях чуть ли не женских, станут недостаточно мужественны, если получат подготовку для жизни в полезных ремеслах и мужских трудах. Во всяком случае, мне отнюдь не представляется полезным для государства содержать на случай войны, которой у вас никогда не будет без вашего желания, беспредельную толпу людей такого рода; они вредят миру, о котором, во всяком случае, надо заботиться гораздо больше, чем о войне.

Впрочем, это не единственная причина для воровства. Есть другая, насколько я полагаю, более присущая специально вам».

«Какая же это?» – спросил кардинал.

«Ваши овцы, – отвечаю я, – обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими про-

жорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, дома и города. Именно, во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди святые, не довольствуются теми ежегодными доходами и процентами, которые обычно нарастают от имений у их предков; не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, делают из храмов свиные стойла. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения и каждую пядь возделанной земли, как будто и без того у вас мало ее теряется под загонами для дичи и зверинцами.

Таким образом, с тех пор как всего один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества, уничтожает межи полей, окружает единым забором несколько тысяч акров, он выбрасывает вон арендаторов, лишает их – или опутанных обманом, или подавленных насилием – даже их собственного достояния или, замучив обидами, вынуждает к продаже его. Во всяком случае, происходит переселение несчастных: мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домочадцами, так как хлебопашество требует много рук. Они переселяются, повторяю, с привычных и насиженных мест и

не знают, куда деться; всю утварь, стоящую недорого, даже если бы она могла дожидаться покупателя, они продают за бесценок при необходимости сбыть ее. А когда они в своих странствиях быстро потратят это, то что им остается другое, как не воровать и попадать на виселицу по заслугам или скитаться и нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное хождение, — никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом предлагают его. А хлебопашеству, к которому они привыкли, нечего делать там, где ничего не сеют. Ведь достаточно одного овчара или пастуха вообще, чтобы пустить под пастбище ту землю, для надлежащей обработки которой под посев требовалось много рук.

От этого также сильно поднялась во многих местах цена на хлеб. Мало того, и сама шерсть возросла в цене настолько, что покупать ее стало совершенно не под силу более бедным людям, занимавшимся приготовлением из нее одежды, и потому большинство из них от дела должно переходить к праздности. Дело в том, что после умножения пастбищ бесчисленное количество овец погибло от чумы, как будто этот мор, посланный на овец, был отмщением свыше за алчность их владельцев, хотя справедливее было бы обратить эту гибель на собственные головы владельцев. Но если даже количество овец сильно возрастет, то цена на шерсть все же несколько не спадет, потому что если продажу ее нельзя назвать монополией, так как этим занято не одно лицо, то, во

всяком случае, это — олигополия. Ведь это дело попало в руки немногих и притом богатых людей, которых никакая необходимость не вынуждает продавать раньше, чем это им заблагорассудится, а заблагорассудится им не раньше, чем станет возможным продать за сколько им заблагорассудится. Та же причина вызывает одинаковую дороговизну и прочих пород скота, и даже в тем большей степени, что с разрушением поместий и сокращением хлебопашества нет лиц, которые бы заботились о приплоде. Упомянутые богачи не выращивают ни ягнят, ни телят, но, купив их в других местах за дешевую цену, они откармливают их на своих пастбищах и перепродают дорого. Позволяю себе думать, что все неудобство такого положения дел еще не ощущается. Именно, до сих пор эти лица создают дороговизну скота только там, где продают его. Но когда они будут вывозить его с места покупки несколько быстрее, чем он может рождаться, то и там также запас его будет мало-помалу уменьшаться, и здесь по необходимости недостаток его будет очень ощутителен.

Таким образом, ненасытная алчность немногих лиц обратила в гибель вашему острову то самое, от чего он казался особенно счастливым. Эта дороговизна хлеба служит причиною того, что каждый отпускает от себя возможно большее количество челядинцев, но, спрашивается, на что, как не на нищету или — к чему можно легче склонить благородные натуры — на разбой?

Далее, к этой жалкой нищете и скудости присоединяется

неуместная роскошь. Именно, и у слуг знати, и у ремесленников, и почти что у самих крестьян, одним словом, у всех сословий заметно много чрезмерной пышности в одежде, излишняя роскошь в еде. Разве не посылают прямо на разбой своих поклонников, после предварительного быстрого опустошения их кошельков, все эти харчевни, притоны, публичные дома и еще раз публичные дома в виде винных и пивных лавок, наконец, столько бесчестных игр — кости, карты, стопка, большие и малые мячи, диск?

Уничтожьте эти губительные язвы, постановите, чтобы разрушители ферм и деревень или восстановили их, или уступили желающим восстановить и строить. Обуздайте скупки, производимые богачами, их своеволие, переходящее как бы в их монополию. Кормите меньше дармоедов. Верните земледелие, возобновите обработку шерсти, да станет она почетным делом! Пусть с пользой занимается им эта праздная толпа: те, кого до сих пор бедность сделала ворами, или те, кто является теперь бродягами либо праздными слугами, — то есть в обоих случаях будущие воры. Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться вашим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным. В самом деле, вы даете людям негодное воспитание, портите мало-помалу с юных лет их нравственность, а признаете их достойными наказания только тогда, когда они, придя в зрелый возраст, совершат позорные деяния; но этого мож-

но было постоянно ожидать от них начиная с детства. Разве, поступая так, вы делаете что-нибудь другое, кроме того, что создаете воров и одновременно их караете?»

Во время этой моей речи упомянутый правовед сосредоточенно приготовился к возражению. Он решился прибегнуть к тому обычному способу рассуждения, когда с большим старанием повторяют доводы противника, чем отвечают на них; такие возражатели вменяют себе в заслугу прежде всего свою хорошую память.

«Ты, конечно, — начал он, — сказал красиво; но легко догадаться, что ты иностранец, который мог скорее кое-что слышать об этих делах, чем иметь о них какие-либо точные сведения; это я и выявлю в немногих словах. Именно, прежде всего я перечислю по порядку твои доводы; затем покажу, в каких пунктах ты ошибся в силу незнания наших обстоятельств; наконец, разобью и опровергну все твои положения. Так вот, начиная, согласно обещанию, с первого, ты, как мне показалось, в четырех пунктах...»

«Молчи, — перебил кардинал, раз ты начинаешь так, то собираешься отвечать не в немногих словах. Поэтому мы освободим тебя в настоящее время от этого тягостного ответа. Но сохраним за тобою такую задачу целиком во второй вашей встрече; ее мне желательно было бы устроить завтра, если ничто не помешает ни тебе, ни Рафаилу. А пока, друг Рафаил, я очень охотно услышал бы от тебя, почему ты не признаешь нужным карать воровство высшей мерой наказа-

ния и какую кару за него, более полезную для общества, назначаешь ты сам; ведь и ты также не признаешь воровство терпимым. А если теперь люди рвутся воровать, несмотря на смерть, то, раз устранен будет страх ее, какая сила, какой страх может отпугнуть злодеев: смягчение наказания они, пожалуй, истолкуют как поощрение и приглашение к злодеянию?»

«Во всяком случае, всемилостивейший владыка, — отвечаю я, — по моему мнению, совершенно несправедливо отнимать жизнь у человека за отнятие денег. Я считаю, что человеческую жизнь по ее ценности нельзя уравновесить всеми благами мира. А если мне говорят, что это наказание есть возмездие не за деньги, а за попрание справедливости, за нарушение законов, то почему тогда не назвать с полным основанием это высшее право высшею несправедливостью? Действительно, нельзя одобрить, с одной стороны, достойные Манлия законы, повелевающие обнажать меч за малейшее нарушение дисциплины; с другой стороны, порицания заслуживают и стоические положения, признающие все преступления до такой степени равными, что, по их мнению, нет никакой разницы между убийством человека и кражей у него гроша; а на самом деле между этими преступлениями, рассматривая их сколько-нибудь беспристрастно, нет никакого сходства и родства. Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем за отнятие ничтожной суммы денег. Если же кто-нибудь стал бы толковать это так, что дан-

ное повеление божие запрещает убийство во всех случаях, кроме тех, когда оно допускается человеческими законами, то что же мешает людям точно таким же образом согласиться между собой о допустимости разврата, прелюбодеяния и клятвопреступления? Бог отнял право лишать жизни не только другого, но и себя самого; так неужели соглашение людей об убийстве друг друга, принятое при определенных судебных условиях, должно иметь такую силу, чтобы освободить от применения этой заповеди сто исполнителей, которые без всякого указания божия уничтожают тех, кого велел им убить людской приговор? Не будет ли в силу этого данная заповедь божия правомочной только постольку, поскольку допустит ее право человеческое? В результате люди таким же образом могут принять общее постановление о том, в какой мере следует вообще исполнять повеления божии. Наконец, и закон Моисеев, несмотря на все его немилосердие и суровость (он дан был против рабов, и притом упрямых), все же карал за кражу денежным штрафом, а не смертью. Не будем же думать, что в новом законе милосердия, где бог повелевает, как отец детям, он предоставил нам больший произвол свирепствовать друг против друга.

Вот причины, по которым я высказываюсь против казни. А насколько нелепо и даже губительно для государства карать одинаково вора и убийцу, это, думаю, известно всякому. Именно, если разбойник видит, что при осуждении только за кражу ему грозит не меньшая опасность, как за уличе-

ние еще и в убийстве, то этот один расчет побуждает его к убийству того, кого при других обстоятельствах он собирался только ограбить. Действительно, в случае поимки опасность для него нисколько не увеличивается, а при убийстве она даже уменьшается, так как с уничтожением доказчика преступления можно иметь большую надежду скрыться. Поэтому, стремясь чересчур сильно устрасшить воров, мы подстрекаем их к уничтожению хороших людей.

Что же касается обычного дальнейшего вопроса, какое наказание может быть более подходящим, то ответить на это, по моему мнению, несколько легче, чем на то, какое наказание может быть еще хуже. Зачем нам сомневаться в пользе того способа кары за злодеяния, который, как мы знаем, был так долго в ходу у римлян, весьма опытных в управлении государством? Именно уличенных в крупных злодеяниях они присуждали к каменоломням и рудникам, держа их, кроме того, постоянно в кандалах.

Впрочем, в этом отношении я ни у одного народа не нахожу лучшего порядка, чем тот, какой я наблюдал и заметил, путешествуя по Персии, у так называемых полилеритов; это – народ не маленький и вполне разумно организованный. За исключением дани, платимой им ежегодно персидскому царю, он в остальных отношениях свободен и управляется по своим законам. Живя далеко от моря и будучи почти со всех сторон окружены горами, они довольствуются плодами своей земли, отнюдь ни в чем не скупой, и сами не часто по-

сещают других, не часто и посещаются; по старинному национальному обычаю, они не стремятся к расширению своих границ, которые в их теперешнем виде легко защищены от всякого несправедливого посягательства горами и платой, вносимой могущественному властелину. Вполне свободные от военной службы, они живут не столько блестяще, сколько благополучно, и скорее счастливо, чем пышно и славно; даже самое имя их известно только ближайшим соседям.

Так вот, у полилеритов пойманные при краже возвращают утащенное хозяину, а не государю, как это обычно делается в других местах: по мнению этого народа, у государя столько же прав на украденную вещь, как и у самого вора. Если же вещь пропадет, то после оценки стоимость ее выплачивается из имущества воров, остальное же отдается целиком их женам и детям, а сами воры осуждаются на общественные работы. Если совершение кражи не осложнено преступлением, то похитителей не сажают в тюрьму, избавляют от кандалов, и они свободно и беспрепятственно занимаются общественными работами. Если же преступники уклоняются от них или производят их слишком вяло, то их не столько наказывают кандалами, сколько поощряют ударами. Работающие усердно избавлены от оскорблений; только ночью, после поименного счета, их запирают по камерам. Кроме постоянного труда, их жизнь не представляет никаких неприятностей. Питаются они не скудно: работающие для государства – на казенный счет, в других случаях – по-разно-

му. Иногда траты на них собираются путем милостыни; хотя это путь очень ненадежный, однако, в силу присущего данному народу милосердия, он дает результат, лучший всякого другого; в других местах назначаются для этого известные общественные доходы. В иных местах для этой потребности устанавливают определенный поголовный налог. Наконец, в некоторых местностях преступники не исполняют никаких общественных работ; но если то или иное частное лицо нуждается в наемных рабочих, оно нанимает на рынке любого из них за определенную плату, несколько дешевле по сравнению со свободным человеком; кроме того, раба за его леность допускается наказывать бичом.

В результате эти люди никогда не бывают без работы, и, помимо заработка на свое содержание, каждый вносит еще нечто в государственную казну. Все вместе и каждый в отдельности одеты они в один определенный цвет, волос им не бреют, а подстригают немного выше ушей, одно из которых слегка подрезают. Друзья могут давать каждому пищу, питье и платье надлежащего цвета; но дать деньги считается уголовным преступлением как для дающего, так и для получающего; не менее опасным является для человека свободного получать по какой бы то ни было причине монету от осужденного, равно как рабам (так называют осужденных) запрещается касаться оружия. Каждая область различает своих рабов особой отметкой, бросить которую считается уголовным преступлением, равно как показаться вне своих преде-

лов и вести какой-либо разговор с рабом другой области. Замысел бегства является столь же опасным, как и самое бегство. За соучастие в таком решении рабу полагается казнь, свободному – рабство. С другой стороны, доносчику назначены награды: свободному – деньги, рабу – свобода, далее, обоим прощение и безнаказанность за соучастие; таким образом, приведение в исполнение дурного намерения ни в каком случае не может доставить большую безопасность, чем раскаяние в нем.

Законы и порядки насчет воровства таковы, как я сказал. Легко можно видеть, насколько они человечны и удобны. Гнев проявляется настолько, чтобы уничтожить пороки; но люди остаются в целости и встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, какое они причинили раньше.

Далее, не может быть никакого опасения за то, что они вернутся к прежним нравам. Мало того, путешественники при своем отправлении куда-либо считают себя в наибольшей безопасности, когда их проводниками являются именно эти рабы, которых они неоднократно меняют в каждой области. Действительно, для совершения разбоя рабы не видят ни в чем никакой подмоги: руки у них безоружны, деньги явятся только донощиком злодеяния, в случае поимки кара наготове, и нет абсолютно никакой надежды убежать куда бы то ни было. В самом деле, как сделать незаметным и скрыть

свое бегство человеку, нисколько не похожему платьем на остальных? Разве только уйти голому? Да и в этом случае беглеца может выдать его урезанное ухо. Но, наконец, может, пожалуй, еще явиться опасение, что они вознамерятся составить заговор против государства. Как будто какая-нибудь отдельная округа может возыметь такую надежду, не опросив и не подговорив предварительно рабов многих областей! Они не только лишены возможности устраивать заговоры, но им нельзя даже собраться вместе побеседовать и обменяться приветствиями: тут же надо признать, что они бесстрашно верят своим сотоварищам такой план, умолчать о котором, как известно, опасно, а выдать его будет очень выгодно. С другой стороны, никто из рабов отнюдь не лишен надежды на то, что если он будет послушен, скромен и подаст доказательства своего стремления исправиться в будущем, то он может под этими условиями рассчитывать на обратное получение свободы; это и делается ежегодно для нескольких лиц из уважения к их терпеливости».

Вот что я сказал и прибавил, что не вижу основания, почему бы этот образ действия не мог принести и в Англии гораздо большие плоды, чем та справедливость, которую так превозносил упомянутый правовед. Тогда этот последний заметил:

«Никогда ничего подобного нельзя установить в Англии, не подвергая государство величайшей опасности».

При этих словах он покачал головою, скривил презритель-

но губы и замолчал. Все присутствовавшие охотно согласились с его словами. Тогда кардинал заметил:

«Нелегко угадать, будет ли это иметь успех или нет, раз не сделано никакого предварительного опыта. Но если по произнесении смертного приговора государь велит отложить казнь, то можно применить обычай полилеритов, уничтожив привилегию заповедных мест; и вот тут, если результат дела докажет его пользу, правильно было бы ввести это установление; в противном случае заслуженная казнь тех, кто уже подвергся осуждению, будет так же полезна для государства и так же справедлива, как если бы она была совершена ранее; между тем опасности от этого не может быть никакой. Мало того, по-моему, подобный образ действия можно было бы с значительным успехом применить и к бродягам, а то в отношении их мы до сих пор не добились никаких результатов, несмотря на издание многочисленных законов».

Как только кардинал сказал это, все наперерыв осыпали похвалами его мысль, к которой раньше, в моих устах, отнеслись с пренебрежением; особое же одобрение заслужил пункт о бродягах, так как это была его собственная прибавка.

Не знаю, не лучше ли умолчать о том, что произошло далее, так как это было смешно; но все же я расскажу: эта было недурно и имело некоторое отношение к настоящей теме.

Случайно тут стоял один блюдолиз, который, по-видимому, хотел строить из себя дурака, но, притворяясь таковым, был очень близок к настоящему. Шутки его, которыми он

старался насмешить, были настолько плоски, что сам он вызывал смех гораздо чаще, чем его слова. Но иногда все же у него вырывалось нечто совсем неглупое, что могло оправдать правильность поговорки: «При частой игре добыешься и выигрыша». Именно, один из гостей сказал, что я в своей речи говорил о надлежащих мерах против воров, кардинал подумал о бродягах, и теперь государству остается только позаботиться о тех, кого довела до нищеты болезнь или старость и сделала их непригодными к труду для снискания себе пропитания. Тогда упомянутый блюдолиз заметил:

«Позволь мне, я и это устрою правильно. Я страстно желаю удалить куда-нибудь с глаз долой людей этого рода. Они мне сильно и часто надоедали своим требованием денег, сопровождаемым жалобными воплями, но никогда все же причитания их не имели такого успеха, чтобы вытянуть у меня монету. Выходило как-то всегда одно из двух: или мне не хотелось давать, или даже и нельзя было, так как не было ничего. Поэтому теперь они стали умнее; когда они видят, что я иду, то не тратят своего труда и пропускают молча: они совершенно не ждут ничего от меня, как будто бы я был священником. Так вот я и вношу закон, чтобы всех этих нищих разместить и распределить по бенедиктинским монастырям и сделать из них так называемых монахов-мирян, а женщинам я велю стать монахинями».

Кардинал улыбнулся и одобрил это как шутку, а другие приняли ее и всерьез.

Но замечание о священниках и монахах сильно развеселило одного из этих последних, ученого богослова, так что он и сам захотел пошутить, хотя в общем был серьезен до свирепости.

«Но и в этом случае, — заметил он, — ты не отделаешься от нищих, если не подумаешь и о нас — монашествующей братии».

«Да это уже предусмотрено, — ответил паразит. — Ведь кардинал прекрасно позаботился о вас, когда выносил постановление о задержании и привлечении к работе бродяг, ведь выто и есть главные бродяги».

При этих словах все взглянули на кардинала и, заметив, что он не отрицает этого, очень охотно подцепили это замечание, все, кроме монаха. Он (что и не удивительно), пораженный такой колкостью, пришел в негодование и до того раскипятился, что не мог удержаться от ругательств: он назвал противника негодяем, подлецом, клеветником и сыном погибели, приводя вместе с тем страшные угрозы из Священного Писания. Тогда шут вошел в свою роль всерьез и почувствовал себя вполне как дома.

«Не гневайся, добрый брат, ответил он, — сказано в Писании: «В терпении вашем овладеете душами вашими».

На это монах (приведу его подлинные слова) ответил:

«Я не гневаюсь, висельник, или по крайней мере не грешу, и псалмопевец говорит: «Гневайтесь и не согрешайте».

Затем, в ответ на мягкое внушение кардинала удержать

свои страсти, монах заметил:

«Я говорю, как должен, по доброму усердию. Ведь у святых людей было доброе усердие; отсюда и сказано: «Усердие по дому твоему съело меня». И в церквах поют: «Над Елисеем кто смеялся, когда в храм тот направлялся», усердие плешивого почуяли, – как почует, вероятно, и этот насмешник, шут, грубиян».

«Ты, – ответил кардинал, – поступаешь, может быть, с наилучшими побуждениями, но поступишь, по-моему, еще благочестивее, во всяком случае разумнее, если поведешь себя так, что не будешь вступать в смешное состязание с человеком глупым и смешным».

«Нет, владыка, – ответил тот, – я не поступил бы разумнее. Ведь сам премудрый Соломон говорит: «Отвечай глупому по глупости его», как я теперь и делаю и указываю ему яму, в которую он упадет, если не побережется как следует. Ведь если многие насмешники над Елисеем, который был только один плешивый, почувствовали усердие плешивого, то насколько сильнее почувствует это один насмешник над многими братьями, среди которых есть много плешивых? И вдобавок у нас есть папская булла, по которой все осмеивающие нас подлежат отлучению».

Кардинал, увидев, что этому не будет конца, отослал кивком головы паразита и свел удачно разговор на другую тему, а затем немного спустя встал из-за стола и занялся делами своих подчиненных, отпустив нас.

Вот, друг Мор, каким длинным рассказом я замучил тебя; мне было бы очень стыдно так долго передавать это, но ты, с одной стороны, пламенно желал этого, а с другой, казалось, слушал так, как будто не желал ничего упустить из этого разговора. Но, во всяком случае, мне, хотя бы и в сжатом виде, надо было передать это, потому что те же лица, отвергнув высказанную мною мысль, сейчас же сами одобрили ее, услышав одобрение ей от кардинала. Они угождали ему до такой степени, что льстили даже выдумке его паразита, которую кардинал не отверг как шутку, и чуть не приняли ее всерьез. Отсюда ты можешь определить, какую цену имели бы в глазах придворных я и мои советы.

– Конечно, друг Рафаил, отвечаю я, – ты доставил мне большое удовольствие, до такой степени разумна вместе и изящна была вся твоя речь. Кроме того, во время ее мне представлялось, что я не только нахожусь на родине, но даже до известной степени переживаю свое детство, предаваясь приятным воспоминаниям о том кардинале, при дворе которого я воспитывался мальчиком. Друг Рафаил, хотя ты вообще очень дорог мне, но ты не поверишь, насколько стал ты мне дороже оттого, что с таким глубоким благоговением относишься к памяти этого мужа. Но все же я никоим образом не могу еще переменить своего мнения, а именно: если ты решишься не чуждаться дворцов государей, то своими советами можешь принести очень много пользы обществу. Исполнить это ты обязан прежде всего как человек честный.

Ведь и твой Платон полагает, что государства будут благоденствовать только в том случае, если философы будут царями или цари философами; но как далеко будет это благоденствие, если философы не соблаговолят даже уделять свои советы царям?

— Нет, они не настолько неблагодарны, чтобы не делать этого с охотой, — возразил он, — наоборот, многие уже и выполнили это изданием своих книг; только бы носители верховной власти были готовы повиноваться добрым советам. Но Платон, без сомнения, отлично предвидел, что если цари не станут сами философами, то, совершенно пропитанные и зараженные с детства превратными мнениями, они никогда не одобряют планов философов: это Платон испытал и сам при дворе Дионисия.

Как по-твоему, если я при дворе какого-нибудь короля предложу проекты здравых распоряжений и попытаюсь вырвать у него злые и губительные семена, то разве я не подвергнусь немедленно изгнанию и не буду выставлен на посмешище?

Ну вот, предположи, что я нахожусь при дворе французского короля, состою в его Совете, и тут на самом секретном совещании, под председательством самого короля, в кругу умнейших людей, усиленно обсуждается вопрос, какими средствами и ухищрениями король может удержать Милан, привлечь к себе обратно беглый Неаполь, а затем разорить Венецию, подчинить себе всю Италию, далее, захва-

тить власть над Фландрией, Брабантом, наконец, над всей Бургундией и, кроме того, над другими народами, на королевства которых он давно уже нападал мысленно. Тут один советник предлагает заключить союз с венецианцами, имеющий силу на столько времени, на сколько это будет удобно королю, сообщить им свои планы, даже оставить у них некоторую часть добычи, чтобы потребовать ее обратно при удовлетворительном окончании дела. Другой подает мысль о найме германцев, третий о том, чтобы задобрить деньгами швейцарцев, четвертый о том, чтобы умилостивить золотом, как жертвой, гнев августейшей воли его величества императора; пятому представляется необходимым уладить дела с королем Арагонии и, в залог мира, отказаться от чужого, не французского, королевства Наваррского; шестой предлагает опутать какими-нибудь брачными надеждами короля Кастилии и привлечь, за определенную ежегодную плату, на свою сторону нескольких знатных его царедворцев. Тут встречается главнейшее затруднение, какое решение принять касательно Англии, во всяком случае, надо вести с ней переговоры о мире и закрепить наиболее прочными узами всегда непрочный союз с ней; надо называть англичан друзьями, а рассматривать как недругов. Поэтому следует всегда держать наготове, как на карауле, шотландцев, имея их постоянно в виду для всяких случайностей, и тотчас выпустить на англичан, если те чуть-чуть зашевелиятся. Для этого надо тайно (открытому осуществлению этого мешают союзные

договоры) поддерживать какого-нибудь знатного изгнанника, который утверждает, что это королевство принадлежит ему, и таким средством обуздывать подозрительность короля Франции. Так вот, повторяю, если бы в такой напряженной обстановке, когда столько выдающихся мужей предлагают наперерыв свои планы для войны, встал вдруг я, ничтожный человек, и предложил повернуть паруса обратно, посоветовал оставить Италию и сказал бы, что надо сидеть дома, так как и одно Французское королевство слишком велико, чтобы им мог надлежаще управлять один человек, а потому пусть король откажется от мысли и расчетов на приобретение других земель, как ко мне отнеслись бы? Затем я мог бы предложить их вниманию постановления ахорийцев, народа, живущего к юго-востоку напротив острова Утопии. Именно эти ахорийцы вели когда-то войну, чтобы добыть своему королю другое королевство, которое, как он утверждал, должно было принадлежать ему по наследству в силу старинных уз свойства.

Добившись наконец этого королевства, ахорийцы сразу увидели, что удержать его стоит отнюдь не меньше труда, чем сколько они потратили для его приобретения: новые подданные были постоянно недовольны ахорийцами или подвергались иноземным набегам, поэтому надо было все время воевать или за них, или против них, и никогда не представлялось возможности распустить войско; а между тем собственная страна ахорийцев подверглась разграбле-

нию, деньги уплывали за границу, они проливали свою кровь ради ничтожной и притом чужой славы, мир не делался ни-сколько крепче, война испортила нравы внутри государства, жители прониклись страстью к разбоям; убийства укрепили в них наглую дерзость; законы стали предметом презрения. Между тем царь, внимание которого развлекалось между двумя царствами, не мог сосредоточиться на каком-нибудь одном из них. Напоследок ахорийцы, видя, что этим сильным бедствиям не предвидится никакого конца, в результате совещания очень вежливо предложили своему королю удержать за собою одно, какое он хочет, царство, так как на два у него не хватит власти. Они говорили, что их слишком много для того, чтобы ими могла управлять половина короля, а с другой стороны, никто не согласится на то, чтобы даже погонщик мулов у него был общий с другим хозяином. Таким образом, этот благодушный монарх принужден был предоставить новое царство одному из друзей, который в скором времени был изгнан, а сам удовольствовался старым.

Так вот, если бы после истории об ахорийцах я указал королю, что все эти воинственные предприятия, которые по его вине вносят замешательство в жизнь стольких народов, истощат его казну, разорят подданных, а могут в силу какой-либо случайности кончиться ничем, и предложил бы ему заботиться о своем унаследованном от дедов королевстве, насколько возможно украшать его, привести его в са-

мое цветущее состояние, любить своих подданных, снискать их любовь, жить одною с ними жизнью, управлять ими мягко и оставить в покое другие государства, раз то, которое ему досталось, более чем достаточно по своей величине, – как ты думаешь, друг Мор, с каким настроением принята была бы подобная речь?

– Разумеется, не очень благосклонно, – отвечаю я.

– Ну так пойдем дальше, продолжает он. – Допустим, что советники какого-либо короля в беседе с ним обсуждают и измышляют средства, как ему увеличить казну. Один советует повысить стоимость монеты, когда надо будет платить деньги, и, с другой стороны, понизить ценность ее ниже нормы, когда надо будет собирать капитал, – таким образом можно будет заплатить большую сумму малым количеством денег и за малую сумму приобрести много. Другой внушает притворно готовиться к войне и под этим предлогом собирать деньги, а устроив это, заключить торжественный мир с религиозными обрядами и создать этим в глазах жалкой черни такое впечатление, что вот, мол, благочестивый государь из жалости к человечеству прекратил кровопролитие. Третий приводит ему на мысль какие-то старинные, съеденные червями законы, устаревшие от долгого неприменения их; так как никто не помнит об их издании, то они нарушены всеми, за что следует взыскивать штраф; доход от этого будет обильнее и почетнее всякого другого, так как на этом будет лежать личина справедливости. Четвертый предлагает

запретить, под угрозой больших штрафов, многое, особенно такое, что идет вразрез с народными интересами, а потом поделиться полученными деньгами с теми, чьим выгодам наиболее препятствует этот указ; таким образом можно снискать расположение народа и получить двойную выгоду: с одной стороны, штрафам подвергаются только те, кого загнала в эти сети алчность к наживе, а с другой – дорогая цена на привилегии стоит в полном соответствии с прекрасными нравственными качествами государя, который с трудом дарует какому-нибудь частному лицу что-либо, идущее вразрез с выгодами народа, да и то не иначе, как по высокой цене. Пятый убеждает привлечь на свою сторону судей, чтобы они в решении всякого дела принимали во внимание права короля; кроме того, их следует позвать во дворец и приглашать разбирать дела в королевском присутствии; тогда ни одно дело короля не будет настолько несправедливым, чтобы кто-нибудь из судей – или из желания противоречить, или из стыда повторить то же самое, или с целью снискать милости властелина – не нашел в этом процессе какой-нибудь щели, через которую могла бы проскользнуть какая-нибудь кляуза; таким образом, при разногласии судей дело, само по себе вполне очевидное, возбуждает обсуждение, и истина вызывает споры, а это как раз предоставляет королю повод для истолкования закона в свою пользу; остальные присоединятся к этому или из стыда, или из страха; поэтому в результате с трибунала бестрепетно произносится соответственный

приговор; ведь при подаче голоса за государя предлог всегда найдется: для этого достаточно, чтобы на его стороне были или справедливость, или слова закона, или запутанность смысла документа, или, наконец, то, что в глазах благочестивых судей стоит выше законов, — неоспоримая прерогатива государя. Все эти советники вполне единодушно и согласно признают следующие положения: правильность изречения Красса, что никакого количества золота не достаточно для государя, которому надо содержать войско; затем король даже при самом сильном своем желании ни в чем не может поступать несправедливо, потому что все и у всех принадлежит ему, как и самые люди, а у каждого имеется собственность лишь настолько, насколько ее не отняла у него королевская милость; при этом для государя очень важно, чтобы такой собственности было возможно меньше, потому что главный оплот его власти заключается в том, чтобы не дать народу избаловаться от богатства и свободы, когда люди не очень-то мирятся с жестокими и несправедливыми приказаниями, между тем как, наоборот, нищета и недостаток притупляют настроение, приучают к терпению и отнимают у угнетенных благородный дух восстания. И вот тут опять поднимусь я и стану спорить, что все эти советы для короля и бесчестны и губительны, так как не только честь его, но и его безопасность заключаются скорее в благосостоянии народа, чем в собственной казне короля. Затем я покажу, что они выбирают короля для себя, а не для него самого, именно

— чтобы, благодаря его труду и расположению, жить в благополучии и безопасности от обид, и королю подобает больше заботиться о том, чтобы хорошо было народу, а не ему самому; таким же образом на обязанности пастуха, поскольку он является овчаром, лежит скорее питать овец, чем себя самого. Если, далее, советники полагают, что нищета народа служит охраной мира, то они жестоко ошибаются по самой сути дела. Действительно, где можно найти больше ссор, как не среди нищих? Кто интенсивнее стремится к перевороту, как не тот, кому отнюдь не нравится существующий строй жизни? У кого, наконец, проявятся более дерзкие порывы привести все в замешательство с надеждой откуда-нибудь поживиться, как не у того, кому уже нечего более терять? Поэтому если какой-нибудь царь вызывает у своих подданных такое презрение или ненависть, что может удержать их в повиновении, только действуя оскорблениями, грабежом и конфискацией и доводя людей до нищенства, то ему, конечно, лучше будет отказаться от королевства, чем удерживать его такими средствами, при которых если он и удерживает свой титул властелина, то, во всяком случае, теряет свое величие. Несовместимо с королевским достоинством проявлять свою власть над нищими, а скорее над людьми достаточными и зажиточными. Это именно и отметил муж ума высокого и благородного, Фабриций, в своем ответе, что он предпочитает управлять богачами, а не быть богачом. И, конечно, допустить, чтобы кто-нибудь один жил среди изобилия удоволь-

ствий и наслаждений, а другие повсюду стонали и плакали — это значит быть сторожем не королевства, а тюрьмы. Наконец, как полным неучем является тот врач, который умеет лечить болезнь только болезнью же, так и тот, кто не может исправить жизнь граждан другим путем, как только отнимая у них блага жизни, должен признаться в своем неумении управлять людьми свободными; мало того, ему следует отказаться от своей косности или высокомерия: этими пороками он вызовет у народа или презрение, или ненависть; он должен, никому не вредя, жить на свои средства, сводить расход с приходом, обуздывать злодеяния, правильным наставлением подданных скорее предупреждая их, чем давая им усиливаться с целью потом карать их; не следует зря возобновлять законы, отмененные обычаем, особенно такие, которые давно устарели и никогда не были желательными; никогда под предлогом штрафа не следует брать ничего такого, чего судья не позволил бы получить ни одному частному лицу, как добытого несправедливо и обманно. Наконец, я мог бы предложить на этом совещании закон макарийцев, которые также живут не очень далеко от Утопии. Именно, их король в первый день по вступлении на престол, после торжественных жертвоприношений, дает клятвенное обязательство не иметь никогда в казне одновременно свыше тысячи фунтов золота или серебра, равного по цене этому золоту. Говорят, что этот закон установил один превосходный король, больше заботившийся о благе родины, чем о своих богатствах.

Закон должен был служить преградой для таких огромных накоплений денег, которые могли бы вызвать недостаток их в народе. Король видел, что этого капитала будет достаточно, если ему придется бороться с мятежниками или его королевству с вражеским нашествием, но этой суммы не хватит, чтобы создать соответственное настроение для нападения на чужие владения. Это было главной причиной для издания закона; вторая, по мнению короля, заключалась в предупреждении недостатка в деньгах для повседневного обращения их в народе; а так как король обязан выплачивать все то, чторосло в казне выше указанного законного размера, то в силу этого ему не надо будет искать повода к причинению обид подданным. Такой король будет внушать страх злодеям и приобретет любовь хороших граждан. Так вот, если эти и подобные положения я буду навязывать людям, сильно склонным к совершенно обратному образу мыслей, то не выступлю ли я в роли проповедника перед глухими?

– Несомненно, даже и перед сильно глухими, – отвечаю я. – Я, право, несколько не удивлюсь этому, да, говоря по правде, мне и не представляется необходимым навязывать подобные разговоры и давать такие советы, которые, ты уверен, никогда не примут. Действительно, какую пользу может принести или каким образом может повлиять такая необычная речь на настроение тех, в чьем сердце заранее поместилось и засело совершенно противоположное убеждение? В дружеской беседе среди близких приятелей подобные схола-

стические рассуждения не лишены привлекательности, но в Советах государей, где обсуждаются дела важные и с полным авторитетом, для них нет места.

— Это, — возразил он, — то самое, что я говорил: у государей нет места для философии.

— Да, — отвечаю я, — для той схоластической, которая считает, что она пригодна везде и всюду. Но есть и другая философия, более житейская, которая знает свою сцену действия и, приспособляясь к ней в той пьесе, которая у нее в руках, выдерживает свою роль стройно и благопристойно. Вот ее-то тебе и надо применять. Иначе допустим, что играют какую-нибудь пьесу Плавта, где жалкие рабы говорят вздор друг с другом, а ты вдруг выйдешь в философском одеянии на сцену впереди всех и начнешь декламировать из «Октавии» то место, где Сенека рассуждает с Нероном: разве не лучше будет изобразить лицо без речей, чем, декламируя неподходящее, устраивать подобную трагикомедию? Действительно, ты испортишь и исказишь данную пьесу, припутывая к ней противоположный материал, даже и в том случае, если твои прибавки будут лучше оригинала. Играй возможно лучше ту пьесу, которая у тебя под рукою, и не приводи ее в совершенный беспорядок тем, что тебе приходится на память из другой, хотя бы и более изящной.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.